

КИТЕЖ

После смерти моей матери все, жившие под зеленой крышей нашего дома на Первой Ясеновской, разлетелись в разные стороны и отцовский дом, уютный и сладостный, опустел и отдан внаймы какому-то неизвестному мне «хозяйственному» человеку. Мебель Луи Филиппа была продана; рояль – вывезен в Ростов; книжный шкаф, знавший столько моих тайн, рассыпался. И в этом очаровательном северокавказском го роде нет теперь ни одного человека, носящего мое имя. Поражу пастыря и рассеются овцы. Первый раз за сто лет, в Страстную Пятницу, никто из нас не побежит к гробу замученного Бога, никто из нас не поцелует кровавых пяти ран, которые он принял, чтобы искупить мир от греха, проклятия и смерти. Никто из нас в этом городе не услышит пламенного акафиста страстям, когда жарко пылает шесть ставников свеч и кисея голубоватого гроба пропитана женственным ароматом болгарского розового масла похожего на то, которое когда-то приносила Мария из Магдал: ее волосы так любил писать венецианский Тициан.

И в светлую заутреню ни в Рядской церкви, ни в Варваринской, ни в Кафедральном соборе, ни в Троицком не будет ни одного человека, принадлежащего к нашей семье. На заутрене ирмосы «Воскресения день» у нас пелись особым напевом, которого я потом не слышал нигде в России и не видел даже в сборниках Римского-Корсакова – и их не коснется ухо мое.

Тяжело и больно – и в эту минуту, такой затерянный и такой от всего родного отрешенный, я хочу хоть через эти печатные столбцы, хоть мысленно, хоть только прикосновением луча сердца быть с тобой, мой родной, мой милый и незабываемый с древнегреческим именем, самый для меня прекрасный и цветущий город на земле. Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена буди десница моя!

Наступала весна и с ней, в первое воскресенье после весеннего равноденствия, – пасхальная ночь, пир веры. И постился ты или не постился, пришел ли ты в шестой или девятый или даже двенадцатый час, все равно: иди в гости к Господу Богу, и будешь принят, и об ласкан, и окормлен. Тебе будет дан высший слух, и ты уследишь как в эту ночь, восходя кверху, из неведомых и таинственных хранилищ струятся соки земли по жилам трав, деревьев и цветов: каштановое идет каштанам, березовое – березам, вишневое – вишням. Холодно, но это особенный пасхальный твердый холодок. В звездах плещется уверенный и веселый, горящий и несгорающий свет. Прекрасно освещен кремнистый путь в Иудею. Мчится цугом запряженная телега Больших Медведиц.

* * *

Город погасил свои торговые огни: золото, серебро и медь переложил из одних карманов в другие, между семьюдесятью тысячами раз делил хлеб, вино и елей. И притих. Сквозь ставни прокрадываются, словно по линейке отчерченные, полоски желтоватого не электрического света: усталые горожане, борясь с дремотой, привычной в этот час, застегивают тугие крахмальные воротнички, изнутри подталкивая запонку большим пальцем; завязывают узлы ярких галстуков-самовязов; заводят праздничные часы с тремя де-

довскими крышками, механизм на рубинах; жмутся в новой, упругой и еще не блестящей обуви; с искушением поглядывают на роскоши пасхального стола: эффектные куличи выпечены из нольной муки и распространяют запах ванили и кардамона.

В отдалении в углу, на большом подносе, установлена батарея: водка с еще ненарушенной белой головкой; удельное вино № 21 и № 26; коньяк Шустова «Золотой колокол»; цинандали князя Андронникова; рислинг Токмакова и Молоткова; вишневка Штритера и рижский бальзам; фруктовые воды Ланина и местное пиво Салиса и Антона Груби... Пустяки, конечно, но все это сидит в памяти, в каком-то левом углу черепа, и записано, как на граммафонной пластинке...

Скользки навощенные подошвы новых сапог, нужно осторожно ходить по праздничным плюшевым дорожкам, – ощущение чистоты, обновления и заботливой прибранности к празднику. Все уже устали торопиться и нервно ждут первого удара в большой колокол, в который зазвонит старший звонарь Кафедрального собора Тарас. Тараса знает весь город и сейчас весь город думает о нем. В руках у Тараса – первая строчка стихотворения.

Все уже оделись, все готовы к выходу, но еще не разрешает Тарас. Все еще нет праздника, еще холодновата эта ночь, ночь весеннего волнительного равноденствия. Хмур Северный Кавказ. Посматривают украдкой на часы. И вдруг:

– Бо-ом! Сказал свое первое слово большой колокол, отлитый при преосвященном Иеремии, первом епископе Ставропольском, как гласит надпись на торжественной меди.

– Бо-ом! – отвечает ему растриженный монах Агафангел из Троицкого собора.

Песнь начали главные басы, основа хора, – вслед за ними вступают другие голоса: баритон Рядской церкви, серебристый тенорок из духовного училища, женский альт архиерейского старого подворья, – и стоящий на горе город с торжественным греческим именем слушает с благодарной улыбкой ночную, единственную в мире симфонию колоколов, украшенных славянской вязью, с выпуклыми буквами императоров, архиереев, с упоминанием событий, с именами жертвователей, усердных к церкви и вере, с именами купцов Чепелевых, Нестеровых, Волобуевых, вычурные могильные памятники которых так пугали меня в детстве.

И да будет прославлен Бог, который в эту ночь возвращает слух мертвецам: свят и незабываем звон святого колокола; интересно бы посмотреть на чертей, которые в эту минуту вверх тормашками летят с колокольни. За целый год не удалось подточить каната, на котором висит колокол.

* * *

О, эти старенькие и хитренькие покойнички! У Чехова есть село, в котором на похоронах дьячок всю икру съел.

Наш город известен тем, что когда-то, в семидесятых годах, принимал у себя великого князя, одного из Михайловичей; угощение было на славу, за спаржей в Ростов посылали, а на утро, перед отъездом князя, – почтительней-

ше представил ему счет за все съеденное и выпитое. А ело и пило человек пятьдесят.

– Город наш нищ и убог, – сказали купцы своему гостю, немало удивленному – еле-еле с хлеба на квас перебиваемся... А потому явите божескую милость: прикажите получить.

И роскошный, с разлитым морем, с гимном, обед влетел великому князю в копеечку. Обед же воистину был приснопамятный:

– Селедки дышали! – восторженно до самой смерти рассказывал отставной клубный официант, специалист по закускам, – в желе свечка горела! Пирамида из разноцветных леденцов была!

– А князь много кушал?

– Какое там! Индюшиное крылышко и то без хлеба.

Император Александр II, которому ошеломленный Михайлович показывал счет, сказал, смеясь:

– Жирно, брат, кушаешь!

Эти же купцы, получившие с князя деньги за обед, который они же сами съели, – эти выжиги, сквалыжники и алтынники любили свой город и часто бывали большими поэтами. Это именно они, как флорентийцы, почувствовали красоту солнечных южных площадей и соорудили на них фонтаны со струей на полторы сажени. Это они зацепили, пронюхали и взлелеяли талант архитектора Воскресенского, который застроил город зданиями так называемого губернского ампира, а на горе вознес трехэтажную колокольню в честь троичности лиц. Эта колокольня по изяществу, по легкости, по игрушечности считалась второю в России после Троице-Сергиевской. И ее смело мог бы подписать сам Растрелли. Прелестной оградой из незамысловатого камня обнесли рощу и Бярятинский парк. Вспоминая, очевидно, одесскую лестницу, Воскресенский на подступах к колокольне и собору вывел красоту-лестницу в сто девяносто ступеней. И надо было видеть, когда горожане и горожанки спускались по ней или на Крещение, или в Духов день.

Именно они, эти купцы, выходцы из Калужской губернии, свили в предгорьях еще не замиренного Северного Кавказа теплое колонизаторское российское гнездо, где десятками лет среди вишневых, яблоневых и каштановых садов по особым северороссийским рецептам культивировали ликеры не хуже *monachorum benedictorum*. Именно здесь готовили знаменитую настойку доктора Эрнеста, составленную на водке из 38 предметов. Настойка давала долголетнюю жизнь и сам Эрнест дожил до 96 лет и умер по случайности, упав с горячей лошади.

И за них, за упокой их наивных и богобоязненных душ в эту ночь всегда бьет первый удар старший звонарь Кафедрального собора хромоногий николаевский солдат, кавалер своему государю Тарас, по прозвищу «Отдай рубль».

По церковному уставу в эту ночь не полагается обычной архиерейской встречи, и архиепископ Агафодор скромно подъезжает к пономарке и облачается в ризнице. Ровно в половине двенадцатого начинается полунощница и хор исключительным напевом, полагающимся только в эту ночь, поет:

– Волною морскою...

Последние минуты лежит в своем гробу Учитель: ровно в двенадцать высыпают из алтаря кресты, иконы, евангелие, церковные знамена, подхватывают плащаницу и несут ее вокруг церкви. У всех в руках свечи, бросающие особенные тени на лица и делающие их особо выпуклыми и чуть на себя не похожими.

Если вы не вышли из церкви и остались в странно опустевшей церкви, то переживаете редкий музыкальный эффект: то четко вблизи, то все дальше благоговейные и чеканящие каждый слог голоса поют:

– Воскресение твое, Христе Спасе...

На фоне стройного хора слышно подпевание, неопытное и любительское, плохо знающее мудреные славянские слова. Шествие, наконец, приблизилось к затворенным дверям, что-то неразборчиво читают и вдруг хор на стремительно избегающих нотах, на шестьдесят четвертых, гремит мажорный, торжествующий христианский клич:

– Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ...

Смерть побеждена, растоптана и на одно мгновение в тебя входит сладчайшее несказанное ощущение собственного бессмертия. И невольно сливаешься с торжествующим народом и торжествующими певцами.

– Утреннеем утреннюю глубоко и вместо мира песнь принесем Владычице...

И эту песнь, приносимую вместо мира, поет и архиерей, одетый в древнерусские царские одежды, и губернатор, получивший сегодня камергера, и кланяющийся с высокой свечой протодиакон, подвивший к празднику концы пышных волос. В соборе разлито чувство равенства, христианский социализм: вы можете христосоваться и с архиереем, и с камергером; все светло и тепло, горят три паникадила и огонь свечей кажется особенным, гуще позлащенным.

В каком-то упоении летит время, и вдруг вы слышите из алтаря сдержанно рокошующий бас:

– Время сотворити Господеви. Начинается обедня и читается первая глава от Иоанна на всех языках: на славянском, на латинском, на древнегреческом и еще на каком-то, которого понять не могу.

* * *

Архиерейская служба тянется дольше всех, и я последний прихожу домой. Вся семья и вся дворня собрались уже в зале: христианский социализм. Повар Филипп Васильевич Рашевский – католик, но и он здесь, без колпака, без белого одеяния, в визитке и при золотой цепочке, протянутой сквозь верхние пуговицы. Все оживленно разговаривают, рассказывают, кто в какой церкви был и какой батюшка служил, и какой регент регентовал. Рассаживаемся и возле матери ставят высокое детское креслице: на нем усаживается кот Лапкин-Бабкин, которого знает вся губерния по моим очеркам в газете «Северный Кавказ».

Кот, сохраняя спокойствие, внимательно следит за справедливостью раздачи. Когда его долго забывают, он тихонько трогает мать лапкой.

* * *

После разговен мы с матерью бежим на свидание к отцу, бежим по бульвару мимо Тифлиссских ворот.

О, это кладбище провинциального не шумного города, где все могилы известны тебе, как дома на главной улице. Оно к великому дню вычищено, деревья – в цвету, все холмики со вчерашнего дня усыпаны фиалками и ранними тюльпанами. Тихо и призрачно горят огни намогильных лампад и свечей, вставленные в садовые фонарики, – какой мир, какая отрада, какая примиренность со смертью, вера в будущее воскресение, преклоненная голова перед последним всерешающим судом, – печаль и воздыхание и какая мечта о жизни бесконечной! И думаешь: сколько поэтов все-таки прошло по земле!

Проснувшиеся озябшие птицы, разговаривая меж собой, как в опере, поют свои диалоги. Тишина. Лежат люди головой к востоку и думаешь: а вдруг там, под землей, происходят вещи, о которых даже и подумать нельзя? А по насыпи, огибая кладбищенскую стену, тихо ползет со станции Кавказской пустой состав товарного поезда и делается невыразимо жаль будничного кондуктора, приютившегося с флажком на последней площадке. Около наших могил поставлена садовая решетчатая скамья: мы сидим на ней вдвоем с матерью. Только что мы катали красное яичко по надгробным плитам, и оно с сухим треском подпрыгивало на выпуклых буквах. Мы одинаково с матерью любим того человека, который зарыт здесь: моего отца. И нам кажется, что это он посылает нам утренний, густой, как масло, воздух, которым дышит благодатная северокавказская черноземная степь. Где-то начинает ворочить солнце и от постепенно прибывающей с востока светлости, из которой скоро сделается свет, кажется, что воздух разжижается и меняет свой запах: начинают оживать и дышать цветы и молодая еще глупая трава, и над нашей головой явно просыпается молодая яблоня, невеста невестная. Вокруг нас – бесконечное царство Креста, дошедшего сюда с Голгофы, и земля, пропитанная слезами.

Наш участок густо заселен дедами и только около отца есть свободное место. Мы говорим с матерью о том, кто из нас имеет больше прав на это последнее место: я или она?

– Я лягу здесь, – твердо говорит мать, – потому что я была его женой и прожила с ним счастливо тридцать пять лет.

– А я – его сын, – возражаю я, – на это место я имею больше прав.

– Но почему? – Потому, что ты была его женой: прошедшее время. А я совмещаю в себе все три времени: я был, емь и всегда останусь его сыном.

– Да, но ведь в тебе течет и моя кровь.

– Я точно знаю, сколько во мне твоей крови и сколько отцовской. Отцовской больше и отцовская – сильнее.

– Митя! – вдруг повышенным тоном, наклонившись к могиле, спрашивает мать, – кого ты хочешь около себя: меня или Илью?

И мы оба затаили дыхание.

Ответа нет. Щебечут птицы.

– Он отвечает в птицах, – говорит мать.

Мы слушаем птиц, но не понимаем их оперы.

Как у зверей, простых и немудреных, не гнавшихся за райскими ядовитыми яблоками, сейчас на заре обострены наши чувства. Мы бестрепетно постигаем таинство смерти, тяжкий естества чин. Мы относимся к ней с покорностью и радостью, ожидая сладчайших загробных встреч и жизни будущего века. Относимся к отцу, как к существу живому, слышащему нас и о нас радующемуся. И не только сердцем, но капельками своего разума утверждаем одиннадцатый и двенадцатый члены великого символа.

* * *

На плите отца выбита выпуклая надпись: «Жития его было пятьдесят семь лет».

И невольно думается: «А сколько же отпущено мне?»

В предопределение я твердо верую. Я знаю, что где-то записан мой час. Вспоминаю предсказания цыганок, хироманток, гадалщиков.

Всматриваюсь в линию жизни под бугром большого пальца, рождается сознание силы и трудноуловимых, но уверенных постижений. Яснее всего – ощущение общности и торжественности с землей, из которой взят и в которую неминуемо отойдешь. Думаешь о ней, о земле: о ее гениальном труде, о точности ее дел, о нежности, о капризах, о сердитости, о гневе, о художественной четкости, об изящном воображении, об отношении к нам, как к детям, которых надо покормить малиной и виноградом, – к детям, 50-60 лет занимающихся не тем, для чего посланы и не знающих ни дня своего, ни часа.

Мы уходим с кладбища, у ворот нас провожает сторож Никифор, полущающий заранее приготовленную трешницу. Мы идем по шоссе и перед нами на возвышении, как на усеченной сахарной голове, расположен акварельный город, ясны, как на карте, линии его улиц, бульваров и площадей.

Встречается, наконец, желанный извозчик и предупреждает нас, что сегодня биржа работает по двойному тарифу.

* * *

Теперь мой Китеж затонул. Его древнегреческое имя заменено именем советского маршала. Но вы можете мне верить или не верить, объясняйте это чудом или теорией произвольных представлений, – в пасхальную ночь, после заутрени, утреннюю глубоку, во время второго сна я слышу старый звон. Вот ударил Тарас, ему последовал расстриженный монах, вот тенорок духовного училища, потом цыганский альт архиерейского подворья...

И не было ни войн, ни революций. Стоит, как град Петров, Россия и никакие врата адовы не одолеют ее.

Это между четвертым и пятым часом утра.

Сургучев И. Д.